

## Рива ЛОЗАНСКАЯ

Я родилась в Бутримонисе. Мои сестры — Бася, Циля, Нехама — родились в Бутримонисе. Наша мать, Дора Ицкович, родилась в Бутримонисе.

Если вы пойдете по дороге из Бутримониса на Клиджёнис и найдете две большие братские могилы, то знайте, что почти все, кто сгнил в них, тоже родились в Бутримонисе.

...Наши родители поженились в 1911 году. Отец, Борис Лозанский, был родом из местечка Чиповичи под Киевом, но после свадьбы остался жить в Литве.

Мою младшую сестру называли Нехамой в честь Нехемьи, брата отца. Жил Нехемья в Киеве. Прибежал однажды после погрома к родственникам, увидел шестерых двоюродных братьев убитыми, вернулся домой — и умер. Ему не было и тридцати.

У Нехамы был сильный характер, и она очень хотела учиться. Мы все получили образование: Бася прошла полный курс еврейской гимназии, я кончила семь классов, Циля — шесть. Только первые четыре года обучения были бесплатными.

За остальные в гимназии платили и довольно много.

Отец сказал:

— Все коробки в лавке пустые, только для виду стоят, стыдно. А без денег у нас не учат. Пусть Нехама учится на портниху.

Нехама отказалась наотрез:

— Жить не буду, если не буду учиться.

Она даже отравиться пыталась. Но платить за учебу все равно было нечем.

Бесплатной была литовская гимназия, точнее, платили один раз в год какую-то небольшую сумму. Однако для поступления в нее надо было хорошо знать литовский язык. И Нехама специально пошла в последний, четвертый класс литовской начальной школы.

Еврейские дети бегали за ней по местечку и кричали:

— Гойе\*, зачем пишешь в субботу?

Об этом узнал раввин, вызвал Нехаму к себе. Она расплакалась и принесла записку от директора школы, Восилюса, что по субботам не пишет, а только слушает. Раввин записку взял. Но все равно по субботам Нехама ходила в школу через огороды.

Прошел год. Мы обеднели еще больше. Если бы Нехама жила с нами и училась в местечке, денег хватило бы. Но литовская гимназия была в Аукштадварисе. Платить за жилье и за обучение

---

\* Гойе — нееврейка (иврит, идиш).

в литовской гимназии — как дешево это ни стоило — отец уже не мог.

Тогда Нехама пустилась на хитрость. Учебный год только начался, и десятилетняя девочка не находила себе места.

Отец собирался к знакомой польке Рассохатской, жившей недалеко от Аукштадвариса, купить яблок на зиму. Нехама упростила отца взять ее с собой. Никто не заметил, что она прихватила узелок со школьным платьем.

Добравшись до места, отец пошел договариваться с Рассохатской о цене; Нехама осталась на повозке. Когда отец вернулся, ее и след простыл.

Рядом с домом Рассохатской было озеро, в котором разводили карпов. Потерявший голову отец решил, что дочь утонула, позвал хозяйку, та — работников, поднялся переполох. Долго шарили сетями в воде, пока один из батраков не вспомнил:

— Какая-то рыжая девица переоделась в саду в школьную форму и ушла в сторону Аукштадвариса.

Отец отпряг коня, вскочил на него и бросился вдогонку. Уже в самом местечке он узнал, что люди видели, как рыжая девочка зашла к директору гимназии.

Отец не владел литовским. Он и на идише говорил плохо, его родным языком был русский. И для объяснения с директором он прихватил случайно встреченного бутримонисца Бадаша.

Нехама сидела за столом и писала заявление.

Увидев отца, бросилась к нему, просила оставить ее здесь.

А директор гимназии Карпавичюс говорил Бадашу:

— Впервые вижу ребенка, который настолько хочет учиться, что готов отрабатывать и квартиру и еду.

Он был так растроган, что взял девочку к себе в дом.

Нехама училась, помогала делать уроки двум детям директора, первоклассникам, вышивала для хозяев коврики, наволочки. Через полгода она сняла квартиру у своей новой знакомой Фарбер.

Тот, у кого были отличные отметки, получал право учиться бесплатно. Отцу ни разу не пришлось заплатить за Нехаму. Никогда он не посылал ей и денег на жизнь. Не знаю, как она перебивалась, но на праздники приходила к нам пешком за двадцать пять километров и приносила подарки.

После четвертого класса гимназии Нехама переехала в Кайшядорис, чтобы учиться дальше. В Кайшядорисе четырнадцатилетняя Нехама организовала общество помощи еврейским детям из бедных семей. Она отдавала на это часть своих собственных денег, заработанных уроками, собирала у других, шила платья для малышей, помогала им готовить уроки.

При советской власти, в 1940 году, Нехаму выбрали комсоргом. И когда нашу старшую сестру

Басю, которую родители заставили выйти замуж за Данцига, состоятельного человека, торговца смазочными маслами и керосином, должны были вывезти вместе с мужем в Сибирь, Нехаме удалось отстоять ее.

Она пошла в райком:

— Сестра из бедной семьи. Вышла замуж из-за денег: считала себя обязанной помочь родителям.

Басю с семьей оставили в Кайшядорисе. Лучше бы ее вывезли...

В июне 1941 года мне предложили работу в военторге в Варене. Давали квартиру. Я согласилась. 18 июня, в среду, я вернулась в Бутримонис, чтобы собрать вещи и в понедельник приступить к работе.

Но в субботу, 21 июня к нам домой пришел офицер:

— Срочно упакуйте все необходимое, поедете с нами в Варену эвакуировать магазин.

Отец запротестовал:

— Не могу я ее одну отпустить с солдатами.

Я осталась.

В воскресенье утром отец выехал в Кайшядорис к Нехаме, но вернулся через час, очень встревоженный:

— Немцы бомбят Алитус.

В тот день неподалеку от нашего местечка сбили русский самолет, раненый летчик спустился на парашюте.

В девять утра русская армия потянулась на Вильнюс. Сын Янкла Цафнаса, еще школьник,

ни с кем не попрощавшись, вскочил в одну из машин и уехал, увернувшись от цепких когтей смерти.

Отец работал на лесозаготовках. Он хорошо знал леса, на хуторах у него было много друзей. Мы могли оказаться в России раньше, чем отступавшая армия.

Пришли наши знакомые — сосед Шимелевич, гордонист Дойв Штукаревич, уговаривали отца:

— Соберем людей, уйдем лесами в Россию. Будете нашим проводником.

Отец отказался:

— Где вы видели еврея, который думает о себе, забыв о детях? Трех дочерей нет сейчас со мной. Я без них никуда...

Зашли мы посоветоваться к родственникам Тевье, мужа Цили, людям богатым, грамотным.

— Мы политикой не занимались. Работали на своей земле и дальше будем работать. Никто нас не тронет: не за что! — сказали они.

Многие собирались в лес, переждать два-три дня: там придут русские танки, надеялись люди, и сразу выгонят немцев. Мы тоже стали укладывать имущество в повозку.

Было четыре часа дня, когда, словно на параде, без единого выстрела, через Бутримонис прошла колонна немецких войск. Сразу стало жутко.

Мы взяли вещи, какие получше, корову; прихватили с собой соседок: Шиляр с пятью детьми — ее мужа еще при Сметоне посадили за контрабанду в тюрьму, где он и умер, — семью комсо-

мольца Рацина и молодую литовку Каминскене, переехавшую в Бутримонис с мужем-коммунистом после установления советской власти в Литве.

Остановились мы на опушке леса, но особенно не прятались. Поставили повозку у дороги, развели костер, накормили детей, сидим.

В девять вечера в Бутримонисе появились мотоциклисты с белыми повязками на рукавах. Заходя в дома к литовцам и полякам, они предупреждали хозяев не пускать к себе евреев. Один из них заметил нас, подъехал поближе и крикнул, чтобы мы убирались домой.

Своих соседей мы не боялись. В мирное время не чувствовалось антисемитизма. Рыба, как известно, гниет с головы, а Сметона дружил с евреями. Хотя, конечно, были отдельные антисемиты.

Прибежал Лабанаускас, неподалеку от дома которого мы расположились:

— Уходи от евреев, Каминскене, — пропадешь! К нам иди.

Девушка ушла. Слышим выстрелы, крики:

— Мы с тобой посчитаемся за мужа-коммуниста!

Бросила Каминскене узлы, убежала и спряталась в лесу. С нами она не осталась — ушла к себе в Даугайский район, в родную деревню.

Мы снялись с места и отправились еще дальше — на хутор Рацининкай к поляку Борткевичу. Поблизости от него жила Рассохатская, были тут у

нас и другие знакомые; еще их прадеды дружили с нашими. Борткевич впустил нас, одиннадцать человек, в сарай.

Возле этого сарая и собрались в ту ночь евреи и поляки. Сидели, беседовали. К полуночи вернулись из Бутримониса сыновья Рассохатской:

— Приказано не пускать к себе евреев, иначе полицейские сожгут усадьбу.

— Сами понимаете, могу ли я вас оставить, — удрученно сказал Борткевич.

Утром он покормил нас, взял у отца на хранение самые ценные из вещей. Они попрощались, расцеловались и расплакались.

Деваться некуда, поехали домой. По дороге шли танки, войска. Мы свернули на проселок и там встретили Нехаму. Занятия в последнем классе гимназии кончились двадцатого июня, она направилась домой, и война застала ее в дороге. Русские звали Нехаму с собой, но она хотела быть с родителями.

Вечером двадцать второго в Бутримонисе все было закрыто. Литовцы взламывали лавочки и грабили. Нехама встала в очередь, хотела проверить, помнят ли ее в местечке. Она очень чисто говорила по-литовски, была светловолосой. Не узнали — сунули ботинки. Тогда она отправилась искать нас.

Отец остановил повозку у въезда в местечко, пошел узнать, вернулись ли евреи. В тот день все подались к тем из знакомых поляков и литовцев, кто казался самым надежным. Как выяснилось,

вернулось все местечко, до единого человека. Многие — без вещей. Их не только прогнали, но и отобрали все, что было. Это был первый массовый грабеж.

Мы ехали по вымершим улицам. Окна, ставни, двери закрыты. Войти в свои дома не решились, попрятались по огородам.

Немцев в местечке не было. Всем заправляли литовцы, "активисты"\*: учитель Савицкас, Пилёнис, который был при Сметоне начальником полиции, Прошкус, Иоселюнас и Потинскас из Гируляй, Асакавичюс из Пласаунинкай, Урбанавичюс, братья Коска и Струмскис из Бутримониса, Синяускас, бывший коммунист из Клиджёниса, Лещинскас из Эйчюнай, Красинскас из Эйгердониса — да разве всех перечислишь...

Первой их жертвой стал местечковый сумасшедший Шимон Нагин. Иоселюнас с полицейскими затащили его во двор маслозавода и там убили.

Двое суток мы просидели на огороде, на улице

---

\* "Активисты" — члены "Фронта литовских активистов", общественной организации, ставившей целью освобождение Литвы от коммунистов и русских. При советской власти, в 1940-1941 гг., "Фронт" действовал в подполье; в первые дни после начала войны "активисты" поддерживали общественный порядок, позже немецкие власти мобилизовали многих из них в полицию. Из "активистов" составлены были также отряды, уничтожавшие евреев. Отличительным знаком "активистов" были белые повязки на рукавах.

не показывались. К нам присоединилась вернувшаяся домой Циля, ее муж Тевье помогал русским эвакуироваться и пришел в Бутримонис только через неделю.

Из самых лучших домов в центре местечка евреев выселили. На остальных довоенные друзья отца Руткаускас и Вайткявичюс повесили таблички с надписью по-немецки и по-литовски: "Здесь живут евреи". "Активисты" ходили по домам и зачитывали приказ: "Евреи не имеют права ходить по тротуару, покидать местечко, должны носить желтую звезду и могут появляться на улице только с 8.00 до 18.00".

Потинскас заявил во всеуслышание:

— Могу любого убить безнаказанно.

Один-единственный магазин был открыт для евреев в определенные часы. Мы знали: там нас ждут побои и издевательства. Многие в местечке уже голодали. Нашу семью спасали корова и огород.

Отправиться в первый раз за покупками меня уговорила Злата Резник. Я согласилась: вдвоем не так страшно. Пошли босиком. Местные власти к приказам немцев отнеслись творчески — в Бутримонисе евреям было запрещено носить обувь.

В магазине несколько человек стояли в очереди за гнилой селедкой. Продавщица Коскене возмутилась:

— Сколько жидов сразу! Где Иоселюнас? Сейчас он вам задаст!

Мы испугались и убежали.

Евреи ходили друг к другу, менялись продуктами, запасы у всех подходили к концу. Мы делились с соседями молоком, которое было необходимо детям, давали огурцы с огорода.

Отец сокрушался:

— Обидно и больно смотреть на бывших друзей. Ты прожил с ними жизнь, а теперь они тебя грабят и насмеваются над тобой.

Нехама хотела уйти:

— Не держите меня. Пойду по Литве туда, где меня не знают. Я не похожа на еврейку. Буду учить детей. Была маленькой, не пропала одна и сейчас не пропаду.

Я отговорила ее:

— А мы? Ты так хорошо знаешь литовский, такая красивая. Грабители, глядя на тебя, разговаривают вежливее. А что будет с отцом? Ведь он совсем не говорит по-литовски.

Сама, своими руками положила сестру в могилу — не могу простить себе этого всю жизнь!..

\* \* \*

На седьмой день оккупации арестовали всех оставшихся коммунистов, учителей, наиболее грамотных и уважаемых мужчин; большинство из них посадили в тюрьму, но некоторых отпустили. Прошел слух, что берут только тех, кто сотрудничал с русскими, и отправляют на работу в Алитус.

Их на самом деле отправили в Алитус, но не на работу, а на расстрел.

Нескольких почему-то отпустили по дороге, однако через неделю забрали снова. Больше их не видели.

Эти люди успели рассказать о смерти учителя Арпахсандера. У него болели ноги. Учителя Винецкий и Литвин вели своего коллегу под руки. В конце концов полицейским это надоело. Они вытащили больного из строя и расстреляли.

Спустя несколько дней через местечко на Алитус прогнали большую колонну русских военнопленных — раздетых, босых. Их били. Немцев среди конвоиров не было — только литовцы, "активисты". В колонне шли и наши знакомые, еврей-коммунисты из Онушкиса. Остановили пленных на отдых возле маслозавода.

— Кто хочет, может принести им воды и хлеба, — сказал один из охранников.

Двенадцатилетний литовский мальчик по имени Борисас принес ведро воды и пару кусков хлеба. Краюху хлеба дала пленным и старая еврейка Бейле Шофер. Ее мужа и детей расстреляли несколько дней назад: они были коммунистами. Охранники выбили старухе зубы, втолкнули ее в колонну и погнали вместе со всеми... На выходе из местечка ей пустили пулю в лоб.

Потом колонны шли довольно часто, вид людей был ужасен.

"Активисты" поймали беглого русского военнопленного, переодетого в крестьянское платье,

отрезали ему язык и пустили по местечку: их интересовало, кто осмелится его покормить.

Нехама взяла ведро, спрятала в нем хлеб и пошла, как будто за водой. Оставила ведро у колодца. Русский увидел ее, все понял, подошел и взял еду.

Под вечер Иоселюнас с подручными отвел пленного за местечко, заставил рыть яму. Они закопали этого парня живым.

В Бутримонисское гетто привезли евреев из местечка Пуня. Среди них была двоюродная сестра нашей мамы, Мазовская, с мужем, дочерью Шошаной и внуками-близнецами. Кроме Шошаны у Мазовских было еще четверо детей. Двое из них — сын Моняс и дочь Рахель — перед войной уехали в Палестину; они и сейчас живут в Израиле. У Мазовских были еще близнецы-сыновья, двухметровые Мендл и Элияѓу. Элияѓу перед войной взяли в армию в литовские подразделения. Он служил в Варене. Все новобранцы разбежались в первый же день войны. Элияѓу убили по дороге к дому.

Мендл женился в июне 1941 года на сироте Розе, в воспитании которой принимал участие пуньский ксендз. Ксендз забрал себе большую часть имущества Мазовских и спрятал Мендла с молодой женой. Ксендз, активный "шаулист"\* , лично

---

\* "Шаулисты" ("стрелки") — литовская военизированная организация, объединявшая демобилизованных солдат.

участвовал в расстрелах, однако эту еврейскую семью продержал у себя до самого конца оккупации. Кормил он их впроголодь. Мендл по ночам ходил к знакомому литовцу Баранаускасу, просил еды. С Баранаускасом бандиты расправились после войны. А Мендла, его жену и ребенка убил сам ксендз. То ли он испугался, что евреи расскажут о его связях с "шаулистами", то ли жалко было отдавать награбленное. Вдвоем с Каспаравичюсом он зарубил топором Мендла, Розу и их двухлетнего сына. Это было на третий день после освобождения. Расправу видела кухарка ксендза. Она рассказала мне об этом несколько лет спустя.

Шошана вышла замуж за Ицхака Кушелевича из Езнаса. Они очень любили друг друга. Двадцать второго июня езнаские "активисты" повели коммуниста Кушелевича на расстрел. За ними с полугодовалыми близнецами на руках бежала Шошана. Привели его на еврейское кладбище, поставили на колени перед ямой и расстреляли на глазах у жены. Пиджак и сапоги убитого ей вернули.

Шошана надела их и больше не снимала. Добежала до озера в центре местечка, бросилась с детьми в воду. Проходивший полицейский спас вдову и сирот. После этого Шошана ушла в Пуню к родителям. Бедняга помешалась: все радовалась одежде мужа, которую носила, смеялась, не переставая...

Родную сестру Мазовского в числе заложников за убитого немецкого солдата расстреляли в Али-

тусе в первые дни войны. Мазовский просил раввина разрешить ему самоубийство: "Для чего мне теперь жить?!"

К этому времени начальником полиции был назначен Леонардас Касперунас. В Бутримонисе его не знали. Говорили, что при русских он был бухгалтером алитусского пищекомбината, состоял в коммунистической партии, а в независимой Литве служил в армии в чине капитана.

По его приказу ежедневно от каждого дома выставляли работника; люди подметали улицы, ремонтировали дороги, чистили выгребные ямы.

Бутримонис словно вымер: евреи попрятались, крестьяне окрестных деревень сидели по домам; "смаугики"\* отбирали у людей все мало-мальски ценное.

В местечке расположилась на отдых немецкая часть. Немцы срезали старикам бороды. Раввина, кантора, шамесов заставляли сжигать свитки Торы, бить стекла в синагоге.

Один свиток спрятал Бальчюнас, литовец-коммунист, а после войны отдал мне. Я до сих пор храню его.

Однажды евреям было приказано собраться в восемь утра на площади.

---

\* После прихода немцев из среды "активистов" по образцу нацистских штурмовиков были организованы т.н. "ударные отряды" (smogiamieji būriai). Члены этих отрядов называли себя "смог'ики" — досл. "ударники". Евреи же, да и многие литовцы, называли их "смауг'ики" (smaugikas) — "душители".

Мы все столпились у дома Двоговского — единственного двухэтажного здания в Бутримонисе. Касперунас разместил в нем управу. Я до сих пор не могу понять, как этот образованный человек мог командовать бандитами, грабить, убивать...

Окруженные полицией, подавленные, сбитые с толку люди горько сетовали:

— Те, с кем мы в прекрасных отношениях бок о бок прожили жизнь, теперь врываются в наши дома, раздевают, расстреливают...

Под вечер явились комендант немецкой части, его заместитель, несколько солдат с собаками.

На двух языках, по-немецки и по-литовски, зачитали приказ:

— Евреи лодыри, никогда не работали, трудиться не умеют и не хотят. Они должны учиться у такой трудолюбивой нации, как литовцы. Завтра вся молодежь начнет бесплатно работать на литовцев-хозяев. И пусть скажут спасибо, что им не придется самим платить за науку.

Я знала немецкий. Увлекалась им в гимназии, читала книги. Кроме того, он похож на идиш. Я все поняла еще до перевода на литовский и обратилась к офицеру по-немецки:

— Чему меня могут научить литовцы? Я с детства работаю. Посмотрите на мои руки.

Комендант улыбнулся:

— Очень хорошо. Раз умеешь работать, будешь у меня переводчицей.

Подошли крестьяне из деревень. "Активисты" распределили между ними молодежь.

— Сейчас разойтись. Завтра на работу.

Я уже жалела, что погорячилась, и попыталась ускользнуть домой, но комендант остановил меня:

— Ты что, не слышала? Я приказал тебе быть переводчицей.

Меня отвели во двор дома Шейнкера, где жил комендант. Перепуганная мама держалась поодаль. Я отказалась войти в дом:

— Господин комендант, молодая девушка не может находиться в одной комнате с солдатами. Направьте меня на любую другую работу.

Адъютант вынес во двор стул, офицер сел.

— Тебе нравятся немецкие законы?

— Мы, евреи, теперь лишены прав. Правду сказать не могу, врать не хочу. Лучше не отвечу.

— Даю слово, ничего плохого не будет. Хочу знать твое мнение.

— Вы начали сортировать людей. Раньше в Бутримонисе сортировали только муку: первый сорт, высший... Людей ценили по достоинству. Кровь у всех одинаковая, что у меня, что у вас.

Комендант спрашивал еще — я отвечала. Вдруг тихо, как бы про себя, немец произнес:

— Дома, в Германии, у меня есть дочь твоих лет. Я бы хотел, чтобы она была похожа на тебя.

И добавил:

— Завтра в десять у нас с литовцами собрание.

Это быдло не понимает по-немецки. Будешь писать и переводить.

По дороге домой мы с мамой увидели, как солдаты с собаками поднимают народ с огородов, заставляют людей отпирать двери в домах, делать в них генеральную уборку. Немцы боялись эпидемии.

Мы с сестрами взялись за работу. Я стала мыть полы. Сняла халат со звездой, осталась в сарафане. Вдруг отворилась дверь. Вошел помощник коменданта. Хватаю халат, натягиваю, бормочу слова извинения. Немец, понизив голос:

— Не надевай. Мне стыдно за наши законы. Меня можешь не бояться.

Мама пригласила его к столу, угостила тем, что было в доме: молоком и хлебом. Немец сел за стол, но сказал маме:

— Сначала попробуй сама.

— Вы боитесь, что мы вас отравим?

— Я ничего не боюсь, но таков закон военного времени.

Поев, он стал рассказывать о себе.

Звали его Ганс-Иоахим Плюшке, ему двадцать девять лет, женат. До войны был провизором в Магдебурге.

Потом он обратился ко мне:

— Комендант приказал тебе прийти завтра в десять. Без меня не ходи к нему. Если поднимет на тебя руку — застрелю. Скоро нас отправят на фронт, там я все равно его прикончу: он очень плохой человек.

Утром смотрю в окно — кто-то в немецкой форме лезет через забор со стороны огорода. Мы, конечно, испугались. Вся жизнь тогда была соткана из страха, к нему не привыкнешь... Оказалось, это Плюшке с пакетом под мышкой:

— Можешь идти. Я буду рядом, во дворе. Если что — кричи.

Пакет он отдал маме. Там были солдатские пайки.

— Я буду вас подкармливать, — сказал Плюшке, — только держите язык за зубами, а то будут неприятности и у вас, и у меня.

Минут через десять я заметила его во дворе управы.

На площадь со всех сторон сводили лошадей. Мне пришлось писать расписки по-немецки и по-литовски об их изъятии у населения. Комендант сам выдавал людям эти расписки. Крестьяне, которых я всех хорошо знала, избегали смотреть мне в глаза.

Комендант приказал мне приходить на работу каждый день: было много переписки, требовалось переводить разговоры немцев с местными жителями...

На следующий день к нам снова пришел Плюшке и сказал мне:

— В комендатуру больше не ходи. Понадобишься — приду и приведу сам. И вообще — ни одна из вас пусть не выходит на улицу. Литовцам дано право вас убивать. Хотите что-то купить в магазине — попросите меня, я принесу.

— Ходит слух, что всех евреев уничтожат. Это правда? — спросила я его.

Ничего Плюшке не ответил, только сказал:

— Прячьтесь и будьте осторожны. Я был в Польше, видел муки евреев. Хорошенько спрячьтесь! Жаль, недолго смогу вам помогать. Наше командование обещало через две недели взять Москву. Я в это мало верю. Вероятнее всего, нас скоро отправят на фронт. Тогда вам будет совсем плохо...

Вскоре он пришел в последний раз, принес три килограмма масла, мыло.

— Пришел приказ: ночью мы выступаем. Если проеду мимо вашего дома на лошади и громко запою, знайте: Москву не взяли. Мы едем на фронт. Уходите и прячьтесь, потому что литовцы постараются уничтожить вас всех.

Прощаясь с нами, он заплакал.

Ночью мы не спали. В три часа услышали на улице рев моторов и выглянули в окно. Плюшке, сидящий в одной из машин, громко пел военную песню. Утром стало известно: все немцы ушли. Нам объявили:

— Всем евреям сидеть дома, никуда не отлучаться, а двенадцатого августа в семь утра всем в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет собраться на площади. Кто ослушается — расстрел.

Умные, конечно, не пошли. Но таких было очень мало. Нехама боялась, что ей припомнят ее комсомольское прошлое, агитацию за при-

соединение Литвы к СССР. Да и Милюньский, сапожник, назначенный старостой гетто, говорил:

— "Смаугикам" известен каждый, кто накормил русского военнопленного, каждый, кто выступал на советских собраниях.

Рано утром он пришел к нам.

— Идти нужно всем. Не явится Нехама — застрелят раввина. Мы знаем, что она здесь, у вас.

Он говорил "мы", выступая от имени наших палачей.

Нехама спустилась с чердака:

— Никого расстреливать за меня не надо. Вот она я, убивайте!

...Нас было много. Мы ждали до часу дня. Полиция окружила площадь. Касперунас с балкона управы делил толпу надвое. Он вызывал по списку молодежь, и те отходили в сторону.

Прозвучала наша фамилия.

— Кто из вас Нехама?

Сестра вышла вперед. Ее увели. Она послала нам воздушный поцелуй и крикнула:

— Рива! Меня сегодня убьют. Сохрани мой аттестат и школьную форму. Я отдала за них жизнь.

Дальше все помню смутно. Отобрали человек сто юношей и девушек. Среди них был Биньямин Боярский, руководитель "Гэхшары". Остальных отпустили.

Молодежь загнали во двор управы, всем велели раздеться. Осматривала каждого Павка Соболевская, у всех девушек сняла с пальцев колечки, с ушей — сережки. Ребята думали, что их от-

правят на работу в Алитус. Снова, как и в первый раз, нескольких человек по дороге отпустили. Одного из них Нехама попросила передать своему парню, Мееру-Нохему Кабачнику, племяннику Дойва Слободского, такие слова: "Колечко твое сохранила. С ним и умру".

...После войны алитусский еврей Ицхак Лифшиц, живущий сейчас в Израиле, рассказал:

— Меня и еще нескольких алитусских евреев погнали на работу, отвезли в лес, заставили копать ямы. Потом нас отвели в сторону, а к ямам подвели людей, раздетых, избитых. Это были бутримонисские евреи, я знал их всех. Видел, как их поставили около рва, как расстреляли. Среди них была Нехама...

В местечке ничего не знали о случившемся. Утром всех выгнали на работу. Соседи, приятели, как видно по заданию карателей, успокаивали евреев:

— Не паникуйте, ваши все живы. Мы сами видели.

Прибежал Гицявичюс из деревни Мажунай, сказал мне:

— Твоя сестра работает с военнопленными на шоссе. Гуляют веселые, здоровые, хлеба у них полно.

Ночью мы с мамой ходили в деревню Паранкава к Волковичене, учительнице Нехамы в литовской гимназии. Туда и обратно отмахали пятьдесят километров. Мы чуяли беду. Предлагали литовке большие деньги, умоляли ее вызволить

Нехаму из Алитуса. Она обещала помочь, но денег с нас не взяла. Мы ей не поверили и оказались правы: она ничем не помогла.

Циля пошла к Касперунасу. Это было опасно: она могла ему понравиться, и он бы ее не отпустил. В его гареме уже было шесть девушек. Касперунас отказал:

— Твоя сестра была комсоргом в литовской школе, выступала на митингах. Она свое заслужила.

Следующей ночью мы отправились на хутор к Люциусу Константиновичусу, поляку, тоже учителю литовской гимназии. Наши матери дружили. Мы надеялись, что он, как человек порядочный и образованный, подскажет, поможет. Константиновичус сразу с гордостью предъявил нам справку, в которой было написано, что он "принимал участие в расстрелах советских военнопленных в Варене и заслуживает уважения со стороны властей". Константиновичус сказал нам:

— Не ищите. Молодежь Бутримониса расстреляна. Нехаму лично застрелил Прошкус из Гируляй.

Мы почему-то сразу ему поверили.

Бутримонисские евреи подозревали, что случилась беда. Ходили неприкаянные, грязные. Кричали друг на друга:

— Так жить нельзя! Надо надеяться на лучшее!

"Белоповязочки" специально распускали успокаивающие слухи. Когда угасала надежда, прибежала какая-нибудь соседка и говорила:

— Никому не верьте. Только что говорила со своим старым приятелем-литовцем. Сказал — все живы, здоровы.

И опять людей терзали сомнения.

Отец не хотел жить без Нехамы. Лицо его опухло, глаза налились кровью. Младшая дочь была его гордостью.

\* \* \*

Еще в июне к нам перебрались наши друзья: Нохем Каселис, его дочь Бася и сын Меер. Их выгнали из дома, стоявшего в центре местечка. Эти августовские ночи мы проводили вместе; спать мы не могли, до рассвета разговаривали. Каждый раскат грома мы принимали за разрывы русских бомб, услышав шум мотора, вскакивали: надеялись, что это прорвались наконец русские танки. Мы верили, что русские скоро вернуться.

Ночью с двадцать первого на двадцать второе августа местечко осветили десятки прожекторов. Забарабанили в окно. Я вскочила с постели и в одной ночной рубашке кинулась к окну:

— Кто?

В ответ рычание:

— Открывай немедленно! Полиция!

— Подождите, я оденусь.

— Открывай! Мы сегодня всяких навидались.

В дом ворвались Касперунас, Ерушавичюс, Йонейка, Стошкус. С ними был и Милюньский.

Касперунас сел на стул. Остальные поставили мужчин лицом к стене.

— Деньги и золото на стол!

Мне в грудь уперлось пистолетное дуло:

— Открой шкаф!

Я подала ключи. Полицейские опустошили шкаф и комод, набили нашими вещами мешки. Потом стали обыскивать каждого в отдельности. У Баси Каселис нашли зашитые в подкладке деньги. Поставили ее у стены, вместе с мужчинами, потом их всех вместе вывели из дома. Одеться не позволили, люди были в одном нижнем белье. Мы с мамой начали суетиться, чтобы собрать им на дорогу продуктов, но Касперунас только усмехнулся:

— Хватит с них краюхи хлеба...

А Милюньский добавил:

— Они останутся в Бутримонисе, завтра сможете навестить их.

С нашего крыльца было видно, как два других "белоповязочника", Микас Жаяичкаускас и Ерушавичюс, выводили семью Бадаш.

Когда они ушли, я пошла искать маму. Нашла ее в спальне, она лежала в обмороке на полу. Я привела ее в чувство и вышла на улицу узнать, что у соседей. Наткнулась на Двойру Волпянскую, она рыдала: осталась одна, увели трех ее братьев. То же было у всех — забрали всех мужчин местечка.

Вдруг я услышала страшный крик и обернулась — Иоселюнас за ноги тащил по мостовой Шимеле-

вича. Шимелевич, истекавший кровью, не переставая кричал:

— Отомстите!

Иоселюнас дотащил его до огорода возле тюрьмы, живого бросил в заранее вырытую яму и засыпал землей. Хозяйка дома, у которой жили Шимелевичи после того, как их заставили убраться из центра Бутримониса, утром рассказала мне:

— Когда Шимелевич увидел, что дом окружили, он выскочил в окно. Иоселюнас выстрелил в него и ранил. Забрали всю семью: жену, дочь, сына...

Арестованных согнали во двор тюрьмы — сто мужчин и пятнадцать женщин. Раввину Виткинду вырвали бороду. Всех раздели, скрутили руки проволокой и погнали в Алитус. Мы с мамой шли следом.

На повозке в хвосте колонны ехали старики и раненые. Моя мама и наша соседка Пителевич подбежали к ним, чтобы передать хлеб. Маму ударили плетью по голове, она упала. Я подняла ее и стала успокаивать, но она меня не слышала: оглохла на одно ухо.

Наш раввин носил высокий черный цилиндр. Полицейские заставили его поменяться головными уборами с одним сапожником, который носил крошечную кепку. Эта картина вызвала у полицейских большое веселье.

Мы вернулись домой. О судьбе наших близких мы узнали от чужих людей. В Алитусе уже были готовы ямы. Перед расстрелом мужчин заставили написать письма домой с просьбой прислать еду и

одежду. Мы тоже получили такое письмо. Его нам принес полицейский Вайткявичюс, старый друг отца. Отец просил курево, одежду и пищу.

Вайткявичюс сказал:

— Собирайте посылку, передам.

Тут сбежались соседи, каждый стал просить передать что-нибудь своим близким. Вайткявичюс милостиво соглашался. Собрал со всех вещи, деньги, продукты и отвез прямиком в свой сарай. Впрочем, в следующий приезд в Бутримонис он передал всем нам приветы. Подобно Вайткявичюсу действовал и другой полицейский — Юхлявичюс: передавал приветы от тех, кто давно лежал в братской могиле. Но мы этого не знали, были очень благодарны Вайткявичюсу, верили, что наши родные живы. Многие из нас тогда же спрятали у него остатки своего имущества.

В ту ночь Юозас Асакавичюс вытащил из дома Арона Куца и застрелил. Поскольку сестра Куца готовила для Касперунаса, тот разрешил ей похоронить брата на еврейском кладбище ночью, тайно. А наутро на виду у всего Бутримониса Асакавичюса арестовали за самоуправство, чтобы показать справедливость властей. Через два часа, однако, Асакавичюс снова разгуливал по местечку, как ни в чем не бывало.

В Бутримонисе остались беспомощные женщины, дети, старики. Никто не пытался сопротивляться. Все сидели и ждали смерти. Мы, конечно, чувствовали, что происходит страшное, но боялись в это поверить.

Несколько бутримонисских евреев успели спрятаться. Среди них были и Циля с Тевье. Дом Шейнкеров, где они нашли себе прибежище, был большой, восьмикомнатный. Молодожены спали в самой дальней комнате, рядом с черным ходом. Когда ворвались полицейские, они схватили братьев Тевье, но сам он и Циля успели выскокить через черный ход и спрятаться на огороде.

И все же таких было мало. Люди просто отупели от ужаса. Да и охраняли нас старательно.

Так прошла неделя. Собирать на работу было уже некого. Но двадцать девятого августа в Бутримонис согнали человек семьдесят евреев из Пуни и соседних деревень. Поселили на Татарской улице.

Наутро огласили приказ:

— Всем собраться на площади. Перераспределят квартиры на Татарской и Клиджёнской улицах. Кто ослушается, останется без жилья.

Я, Циля и Тевье спрятались на поле в картошке. Мама заупрямилась:

— Моя подруга, Добл Бадаш, перед войной перенесла операцию, трепанацию черепа. Из всей ее семьи уцелели только она и ее маленькая дочь. Они могут остаться без жилья. Надо помочь им переехать.

Мама пошла на площадь вместе с Бадаш, держа ее под руку.

Полицейские окружили явившихся плотным кольцом и стали отбирать новую партию для Алитуса. В нее включили всю молодежь из Пуни,

а также местных — тех, на кого указывали бутримонисские литовки. Эти женщины, которым евреи передавали на хранение свои вещи в надежде, что хоть что-то получат обратно — ведь литовцы такие верующие, если даже захотят обмануть, можно пожаловаться ксендзу, — кружили по площади, ища тех, кто им доверился. "Смаугики" отгоняли их жертв в сторону.

Вайткявичене указала на маму.

Эту группу повели туда же, куда и предыдущие, — во двор управы. Там люди просидели до темноты. В двенадцатом часу ночи их начали по двое вызывать в канцелярию. Слышались стоны. Потом мама рассказала мне о том, что видела:

— Евреев бросали на скамью, били по головам нагайками, скручивали по двое проволокой, выводили во двор и избивали.

Мойше-Йеґуду Мазовского избивали так, что мама еле узнала его.

Выволокли на крыльцо и Мойше Гольдберга. Он кричал:

— Сволочи, что же вы делаете?! Всю жизнь я работал вместе с вами, мы дружили. За что перед смертью еще так издеваетесь?

Его толкнули в общую кучу.

Вывели дочерей раввина, сестер-близнецов Мирру и Голду. Девушки кутались в платки, другой одежды на них не было. Йоселюнас сорвал с них последнее и голых столкнул с крыльца.

Глубокой ночью "смаугики" пошли еще раз выпить перед дорогой. Маме удалось убежать: она

выскочила за ограду в тюремный сад, граничивший со двором управы, и спряталась в яме.

Вскоре вернулись "активисты". Тех, кто не мог идти, побросали в повозку, остальных построили в колонну и погнали из Бутримониса. Когда колонна скрылась из глаз, мама выскочила из ямы и огородами пробралась домой.

Я, Циля и Тевье весь день пролежали на огороде у Шейнкеров в высокой картофельной ботве. Ждали нашу маму и мать Тевье.

Хая Шейнкер пришла вечером.

— Партию на Алитус уже собрали. Мы должны идти в гетто.

О моей маме она ничего не рассказывала, а мне было страшно спросить. Я чувствовала: что-то случилось. Циля и Тевье отправились в деревню, к знакомому литовцу, а я кинулась в гетто искать мать. Фейга Яновицкая, моя подруга, встретившаяся мне по пути, сказала:

— Твою маму отвели в канцелярию.

Значит — Алитус, на гибель...

...Фейга погибла в самом конце войны. Поначалу судьба была милостива к ней: во время массового расстрела она чудом осталась в живых, выбралась ночью из рва, заполненного трупами, два года пряталась в лесу. Там Фейга встретила беглого русского военнопленного, они прожили вместе почти год. Фейга забеременела. Оставить ребенка в таких условиях было безумием. Повивальная бабка из Паранкавы сделала ей аборт, но неудачно. Девушка умерла. Друг ее дождался

прихода Советской Армии и ушел с ней на запад. После войны он не раз приезжал на могилу Фейги...

Узнав о том, что маму отвели в управу, я решила во что бы то ни стало найти ее и остаться с ней. Фейга силой пыталась меня удержать, но я вырвалась.

Возле синагоги, где полицейские хранили добро, отобранное у евреев, стояла длинная пароконная повозка. Ксендз Каушила из Пивашюнай и органист Станулёнис грузили на нее мебель.

— Неужели и ксендзы грабят? — спросила я стоявшую поблизости еврейку.

Та ответила:

— Что ты! Разве ксендзы грабят? Он берет на сохранение, а потом вернет нам. Он все же как-никак в Б-га верит!

...Недолго "святой отец" пользовался награбленным. После войны его посадили, а в доме его поселили одиноких стариков. Хорошая мебель была в доме для престарелых...

Я пыталась выбраться из гетто, но часовые меня не выпускали. Прибежала к Милюньскому. В доме никого. На комод — какие-то вещи, пачки наших прошений, датированных двадцатым августа. В тот день забрали молодежь, и Милюньский посоветовал родственникам арестованных писать на имя Касперунаса. Он рекомендовал подкрепить просьбу подарками. Люди отдавали самое ценное. На комод я увидела Басины часики.

Я кинулась прочь и на пороге столкнулась с хозяином дома. Я упала на колени, просила ответить к матери. Милюньский был так пьян, что даже не смог мне ответить. Я бросилась к выходу.

От Милюньского я забежала к Лее Перцакович. Ее мужа Ицика забрали вместе с моей мамой, а детей — Копла, Исраэля, Малки, Сары, Гиты — уже не было в живых, все они погибли, только один сын, Залман, попал в каунасское гетто, от туда был вывезен в Германию. Его освободили американцы. Сейчас он в Израиле.

Лея сказала:

— Вчера в Езнасе уничтожили всех евреев. Наших ждет та же судьба. Матери ты не поможешь, а себя погубишь. Не ходи туда.

От Леи я зашла к Шеваху-музыканту; в его доме собралось больше двадцати семей. В каждой из них осталось один-два человека: результат четырех акций. Слева от двери, на полу — вдова сапожника Штукаревича с тремя маленькими детьми. Под столом — Шейна Лерман, вдова шамеса, там же Злата Адельсон, у обеих — ни мужей, ни сыновей. На маленькой кушетке — сам столетний Шевах с женой. Мне места не было.

Пол был завален кастрюлями, подсвечниками, подушками. На шум вышла из задней комнаты старшая сноха Шеваха, единственная оставшаяся в живых из семьи, не считая стариков.

— Надо принять. Куда она пойдет? Уступлю полкровати, — сказала она.

Я забралась в кровать, легла. Перед глазами все время стояла мама: одинокая, ждущая смерти.

Вдруг стук в дверь:

— У вас прячется девушка!

Оказывается, Милюньский протрезвел и вспомнил, что видел меня.

Дом переполошился. Не утратил самообладания один старый Шевах: велел мне лечь на его кушетку, накрыл каким-то тряпьем, сам лег сверху.

Милюньскому открыли дверь, и он вошел в дом, где воздух был отравлен испарениями двух десятков немых тел. Он повертел носом, окинул беглым взглядом комнату и вышел.

Я не могла спать и села у окна. В доме все стихло. Под утро в стекло чуть слышно постучали. Я приоткрыла створку. За окном — старый Ицик Перцакович.

— Не плачь, доченька. Мы с твоей мамой сбежали. Беги скорей, ищи ее где-нибудь на огороде.

Рассветало. Охраны не было заметно. Я огородами пробралась к дому. Маму я нашла в беседке: волосы распущены, глаза безумны. Я заплакала, стала трясти ее. Она молчала. За руку, как ребенка, я привела ее в гетто.

Мы нашли приют в домике Рашл, служанки раввина. Долго оставаться там я боялась и решила бежать с мамой в лес. Шансов выжить, однако, и в лесу было мало. После войны я узнала, что из Бутримониса удалось бежать восьмидесяти евреям; лишь десять остались в живых.

Еды не было, но ее можно было выменять на вещи. Я собрала все ценное, что осталось после грабежей, и спрятала на чердаке у Рашл. Вещей еще оставалось много: кое-что Циля привезла из Кайшядориса, что-то отец успел спасти перед конфискацией имущества Баси...

Мы с мамой разносили барахло по знакомым полякам и татарам. Хуторяне приезжали сами, предлагали свои услуги:

— Оставь вещи мне. После войны верну.

Они знали, что нас ждет...

Отдашь все в одни руки — сразу выдадут, это все в местечке понимали. Решили — раздавать многим. Кто-то из них да окажется порядочным человеком, что-нибудь да останется... У меня так и вышло.

Кое-что мы отдали Лещинскасу. Тулявичене с дочерью и Гицявичюс из Мажунай приезжали в начале августа, рассказывали, что видели Нехаму с русским военнопленным; звали прятаться у себя и предлагали взять наши вещи на сохранение. Тулявичене, не дожидаясь нашего разрешения, стала выносить из комнаты стулья. Ее дочь училась вместе с Нехамой. Мы отдали для нее все, что осталось из вещей сестры: платье, шелковые чулки.

Я предупредила их:

— Бойтесь Иоселюнаса, вашего соседа. Он все отберет.

Они успокоили меня:

— Мы с ним в одной организации, "шаулисты".

Приезжал ксендз Мейлутис из Пуни со своей любовницей Зосей. Зашел к Мазовским, потом к нам.

— Ваша тетя, Мазовская, поверила мне, дала свои вещи, давайте и вы. Я сохраню их.

— Нам не нужно барахло, все равно нас убьют. Спрячьте лучше нас с мамой.

Ксендз, ничего не ответив, нагрузил повозку доверху и уехал.

Ни одной ночи с двадцать девятого августа по девятое сентября мы не провели в гетто. Ночевали у Гицявичюса. Принимали нас хорошо, кормили, успокаивали:

— Ничего с вами не будет.

Позже эти люди стали карателями.

Я еще не знала тогда, что нашей Баси нет в живых. Она погибла двадцать седьмого августа в Кайшядорисе.

Рассказала мне об этом ее бывшая домработница, татарка Радлинская. Мы встретились с ней после войны. Через весь Кайшядорис шла Бася к гибели, неся на руках трехмесячного сына. За юбку ее держались пятилетний сын и трехлетняя дочка. Мужа Баси застрелили на пороге дома; его отца в числе других богатых евреев и руководителей местной общины сожгли в синагоге.

У Гицявичюса мне попала в руки газета. В статье под названием "Литва — литовцам" я прочла: "Еврейский вопрос надо решить окончательно". Также следовало "окончательно решить вопрос" с коммунистами, русскими, поляками и цыгана-

ми. Я не желала вдумываться в страшный смысл этих слов, у меня не было сомнений, что скоро русские освободят нас.

Мы верили в то, во что хотели верить.

У Лещинскасов, которых мы знали много лет, мы увидели на столах наши скатерти, на окнах — наши занавески, на хозяевах — наши платья, уже перешитые. Все это Лещинскасы брали на сохранение. "Неужели и хорошие знакомые ждут нашей смерти?!" — подумала я, но ничего не сказала. Я спросила Юозаса:

— Разве ты не боишься немцев? Ведь ты с сорокового года был милиционером в Вильнюсе.

— Я кровью смыл с себя вину. В первый же день оккупации убил двух политруков, с которыми жил в одной комнате.

Он вытащил патефон, завел "Тучи над городом встали".

— Если милиционер добровольно становится полицейским, его прощают. Я пойду в полицию.

Мы испугались и ушли от них. Под ливнем мы промокли насквозь, хотелось есть... Нас потянуло в гетто: узнать, жив ли кто, переодеться.

Ближе к Бутримонису мы наткнулись на доктора Габая. Он искал, куда спрятать семью: жену, двоих детей, девяностолетнюю мать, слепого брата, родственника по фамилии Финк с сыном.

— Куда вы?! Бегите! Я лечу Касперунаса от ревматизма; он сказал мне, что завтра уничтожат всех оставшихся. Меня он отпустил: "Беги, если можешь, я тебя искать не буду".

Мы пошли в гетто.

Рядом с домом Рашки Прусс, на крыльце Сморгонских, сидела опухшая от слез Мазовская с одним из близнецов на руках. Второго держала Шошана. Я попросила дать мне одного ребенка: "активисты" женщин с детьми до сих пор не трогали — как выяснилось, оставляли напоследок, понимали, что с детьми далеко не убежать.

— Нет, — услышала наш разговор старшая Мазовская, — я пойду в яму с обоими.

— Ребенок тебе не поможет, — осклабилась Шошана; со дня расстрела мужа она не переставала смеяться. — В Езнасе уже всех расстреляли. У моего Ицика такие хорошие племянники... Их тоже убили. Никого не осталось в Езнасе. Всех до единого закопали на полях.

Оставив маму с ее сестрой, я побежала в дом Рашки переодеться; мокрое повесила сушить, надела сухое — и тут вдруг увидела за окном "белоповязочников". Они гнали по улице Шошану Штукаревич с детьми и других женщин.

Входная дверь открывалась внутрь. Как я оказалась за ней, когда она распахнулась, уж не помню. Комнатка была маленькая. "Активисты", оставив дверь открытой, шагнули сразу во вторую комнату.

— Собирайтесь! — приказали они Рашке и ее старухе матери.

— Оставьте меня, — молила Рашка. — Кто будет носить еду моему мужу и детям, которых вы забрали?!

— Хватит, достаточно они нажрались за свою жизнь! Да и ты тоже.

Дом опустел. Дверь осталась открытой. Из кухни был ход в сарай, оттуда — на чердак. Я кинулась наверх прятаться. Весь чердак был завален узлами: тут лежали вещи и самой Рашки, и многих соседей. Я сунулась было под тюки, но сообразила, что за ними бандиты придут в первую очередь: ведь именно возможность наживы вдохновляла их в эти страшные дни. Я бросилась вниз. Из сарая был еще один выход; кинулась туда, выскочила за ворота. У ворот стояла мама. Я молча схватила ее за руку и потащила за собой на Клиджёнскую улицу.

Сентябрь выдался холодным. Меня знобило. На ходу я забежала в какой-то дом, схватила первое, что попало на глаза. Это была скатерть; я набросила ее на плечи.

Обе улицы гетто, Клиджёнская и Татарская, были оцеплены. Деваться некуда. Нас подхватила толпа. Впереди шли Касперунас с вахмистром Германавичюсом; Ерушавичюс и еще несколько полицейских ехали верхом. Двигались из местечка в сторону деревни Клиджёнис.

Так прошли около двух километров.

— Должно быть, нас гонят копать картошку в Пивашюнай, — сказала Пителевич. — Тут неподалеку вырыли большие ямы, говорят, под овощехранилище.

Моя соседка по колонне, Фрида, прошептала мне на ухо:

— Рива, отомсти за нас! Ты все равно убежишь, я знаю.

— Давай вместе.

— Нет, со мной маленькая Двойреле. Я не могу ее бросить. С ребенком далеко не убежишь...

В толпе кричали, плакали, стонали; охранники подгоняли людей, били их, гоготали, довольные.

Я, не выпуская маминой руки, норовила пробиться к краю колонны, чтобы, улучив момент, сбежать.

Вдруг появились идущие навстречу колонне незнакомые "белоповязочники" с винтовками.

— Где здесь дорога на Аукштадварис? — спросила я по-польски одного из них.

Пьяный литовец махнул рукой, показав мне направление. Я перебралась через кювет, увлекая за собой маму. Мы забрались в кусты, и только тогда я вспомнила про скатерть, в которую была закутана. С рассветом следовало от этого одеяния избавиться.

К полуночи резко похолодало. Мы с мамой сидели в кустах, прижавшись друг к другу. Вдруг послышалась стрельба, залаяли собаки.

... Подробности того, что случилось в этот день, девятого сентября, рассказал мне Юозас Карпавичюс. Перед войной, при русских, он однажды нарисовал плакат: Сметона удирает в Америку. Ему это припомнили. Юозаса заставили рыть ямы и засыпать землей трупы.

Сначала покончили с мужчинами. Их поставили на краю ямы, лицом к ней, и стреляли в затылок.

Жена вахмистра Германавичюса раздела женщин. Белье, как ее об этом ни просили, не разрешила оставить. Не дала пропасть добру. Обреченных заставили спуститься в яму и лечь на трупы. Места всем не хватило.

Полицейский Ионейка спрыгнул вниз и начал укладывать женщин плотнее друг к другу. Ему вцепились в волосы, схватили за горло. Яма была глубокой — метров десять. Литовцам пришлось спускать Ионейке веревку.

Вторая яма была неподалеку, в песчаном карьере. К ней согнали детей, свезли стариков, больных; там были и Хана Резникович, и жена Ицика Шейнкера, которые вот-вот должны были родить. Жена Ицика родила у самой ямы.

Защелкали выстрелы. Кричащих от боли и ужаса людей сталкивали вниз; у Астраускаса была в руках палка с длинным гвоздем на конце, он накалывал на него детей и стряхивал их в яму.

Германавичене суетилась, разносила карателям пиво и вино. Бочки стояли под деревьями, там же сидели зрители, сбегавшиеся со всей округи посмотреть кровавый спектакль. Одна любопытная, правда, упала в обморок.

В детей почти не стреляли, засыпали их живыми. Два дня после этого шевелилась земля.

После всего палачи поделили между собой вещи и разошлись. В последний момент кто-то заметил мальчика, выбравшегося из ямы. Малыш был ранен. Он пытался отползти в сторону. Убийцы подождали, и когда расстояние показалось им

достаточным, открыли стрельбу по движущейся мишени.

В живых остались: староста Милюньский с женой, Цви Мостович, конюх у Касперунаса, шорник Йоше-Лейзер Меерович с женой и весь "гарем": две пуньские девушки, пятнадцатилетняя Мина Гольдберг, две сестры (фамилию их не помню) и Асна Бавер. Все они были красавицами. Не расстреляли и отца Асны Арона Бавера.

Мину Гольдберг взял в наложницы полицейский Лапинаускас. Жил он с ней до начала октября. Потом кто-то донес на них в Алитус.

Тогда Лапинаускас пригласил Мину погулять. Только пальто с каракулевым воротником надевать не велел. Мина все поняла, стала умолять пощадить ее. Лапинаускас проволоч девушку через все местечко на еврейское кладбище к загодя вырытой могиле, столкнул в нее, застрелил и ушел.

А Павка Соболевская отрубила убитой голову и выбила золотые зубы.

Сестрам в конце сентября удалось сбежать.

Со всеми остальными покончили на еврейском кладбище Бутримониса первого октября. Арон Бавер мог бежать, дочь успела предупредить его. Но он не захотел уйти, плакал:

— Не сумел вместе со всеми. Лежал бы с уважаемыми людьми. А сейчас — с Милюньским...

Асна и нас предупредила, восьмого сентября металась в гетто:

— Уходите! Завтра всех убьют!

Ее Касперунас прятал до ноября. В ноябре Асна Бавер разделила участь евреев своего местечка.

Тогда, прячась в кустах, мы ничего этого еще не знали...

На рассвете мы отправились в сторону польских деревень.

Среди "смаугиков" поляков почти не было. Но приказ, запрещающий прятать и кормить евреев, был известен всем в округе. Никто нас и на порог к себе не пустил.

Приютил нас знакомый, Райнис. У него на хуторе, на гумне, прожили несколько дней. Держать нас дольше он побоялся.

Оттуда мы пошли к Воверису. Жена его была старой маминой знакомой. Когда она ездила навещать мужа, сидевшего в каунасской тюрьме, всегда по дороге останавливалась у нас. Да и сам Воверис приглашал нас к себе еще в первые дни войны.

Мы думали, он хочет грех свой искупить. Этот богатый поляк сидел в тюрьме за страшное дело. У него уже были дочь и два сына, когда жена родила близнецов. Воверис сварил их и скормил свиньям. Это видел мальчик-пастушок. Воверис убил и его, закопал в лесу, сверху воткнул березку. Дерево не принялось. По этой березке пастушка и нашли.

Мы попросились к ним:

— Вы нас приглашали. На улице холод, дождь; мы голые, голодные.

— Ладно. Идите в сарай. Прячьтесь в сено.

Жена Вовериса сняла с моей головы платок:

— Тебя все одно убьют. А я хоть в костел по-человечески схожу.

Воверис зашел в сарай:

— Где ваша лошадь, самовар?

Я проговорила:

— Лошадь у Янковского из Жалёйи, — и прикусила язык, да поздно.

Всю неделю, каждую ночь Воверис с сыном привозили полную повозку награбленного у евреев из Онушкиса и Аукштадвариса. Обычно их сопровождали полицейские. Всю ночь они пьянствовали у него дома, а мы в это время дрожали от страха в сарае.

На шестое утро прибежала хозяйка:

— Муж с сыном пьянствуют, я слышала — нехорошее замыслили. Они думают, что при вас есть золото. Бегите.

Днем далеко не убежишь. Здесь же в деревне мы постучали к поляку Монтфилю. Обращаться к литовцам было самоубийством. Монтфиль накормил нас, дал денег, плакал:

— На смерть вас отпускаю!

Но держать не стал: трое детей, и жена против.

Мы переночевали у него и ушли в лес. Спали на земле, согревая друг друга.

Утром на нас наткнулся парень в военной форме.

”Все. Уведет и расстреляет”, — подумали мы. Но он сказал:

Я вас знаю. Я помогу вам.

Был это Игнаций Шестаковский. Его деревня Паранкава находилась в двадцати пяти километрах от Бутримониса. В тридцать девятом году парень лежал в больнице в Каунасе. Денег на обратную дорогу у него не было, сил идти домой пешком — тоже. На автобусной станции Игнаций встретил моего отца. Отец посадил молодого поляка в автобус Боярского, заплатил тому пять литов, отвез парня к нам домой, накормил, оставил ночевать. Утром Шестаковский ушел к себе.

Все это он рассказал нам в лесу. Игнаций отвел нас в Паранкаву к своему брату Михалу. Того не было дома: ушел в Бутримонис на базар. Его жена устроила нас в сарае.

— Ничего вам не обещаю, не знаю, уговорю ли мужа, — сказала она.

Мы не надеялись на успех: ведь из-за нас этим людям грозила смертная казнь. Но провести день в тепле и сытости — уже большое счастье.

Михал пришел под вечер. Жена его упала на колени, обхватила мужа за ноги:

— Михалюня! Разреши мне подержать у нас двух евреечек. Нашла в лесу. Голодные, замерзшие.

— Ладно, поддержи немного.

Радостная, она прибежала к нам:

— Разрешил. Через пару дней война кончится. Русские близко. Мы слышали по радио: американские евреи хорошо заплатят тем, кто вас прятал.

Очень скоро мы поняли, что не из-за этих мифических денег добрая женщина нас приютила, — она просто по-человечески хотела нам помочь.

Хозяйка дала нам горячей воды помыться, напоила чаем, накормила чем могла.

А я все плакала, вспоминая сестер, но в то же время думала:

”Не их надо оплакивать. Они уже отмучились. Над собой надо плакать. Один Б-г знает, что нам еще предстоит пережить”.

Мы прятались на сеновале. Каждый день хозяева приносили с базара горькие вести:

— В Бутримонисе расстреляли всех до одного.

— Всех евреев убили в Онушкисе, в Аукштадварисе.

— По деревням организовали отряды ”самообороны”. Они должны ловить и уничтожать скрывающихся евреев и военнопленных. По ночам подслушивают в деревнях под окнами: не слышна ли еврейская речь, не плачет ли в доме чужой малыш, не жгут ли огонь в неурочное время; высматривают, нет ли на земле следов от городской обуви: все деревенские ходят в деревянных башмаках, клумпах.

— Интересно, почему отряды карателей называли отрядами ”самообороны”? — думала я. — От кого они обороняются?

...Хозяева ушли копать картошку, а меня оставили в доме. Я захотела сделать им приятное — вымыла окна, застелила кровати, все убрала, за-

штопала Михалу брюки. Вернулась жена Михала, испугалась:

— Что ты наделала! Люди сразу поймут, что евреи у нас. Мы никогда не моем окна. И нет у нас такой моды — застилать кровати. Больше так не делай.

Михал же похвалил:

— Вечно я ходил с разодранными брюками. Теперь хоть бахрома не болтается.

Вскоре Шестаковских напугал сосед:

— В соседней деревне ходят по домам, ищут евреев. Скоро к нам пожалуют.

Шестаковские посоветовались и решили устроить нам надежное убежище. Михал сказал:

— Будем рыть яму, будто под картошку. Застанут соседи — так и скажем. Но тогда вы там спрятаться уже не сможете. Про бункер будут знать.

Пол в хате был глиняным, без настила. Михал — столяр, работал дома. Яму выкопали под верстаком. Закрывалась она крышкой, которую обмазали глиной. Воздух попадал в этот тесный бункер через железную трубку, для которой в фундаменте пробили отверстие, выходящее во двор.

Никто из посторонних в этот день к Шестаковским не зашел.

В яме было душно. Пот лился с нас ручьями, тела зудели. На стенках ямы проступала влага. Мы разделись, но и это не помогло.

У хозяев нашлась одна старая книга, почему-

то на немецком. Я прочла ее всю, до последней буковки — под лучиком света из трубки для поступления воздуха. Чтение на короткое время отвлекло меня от постоянных мыслей о сестрах. Думать о себе было не веселее: хозяин рано или поздно выгонит нас...

Глубокой ночью деревня засыпала. Нас выпустили из ямы подышать, обсушиться, поесть.

Мы садились на печь, стоявшую напротив окна, и смотрели на улицу: не идет ли кто? Если прозеваем гостя, не успеем спрятаться.

Хозяева наши жили впроголодь, но мы — еще хуже. Утром — немного вареной капусты с хлебом, ночью — пару картофелин. Хоть и были сыты горем, но есть все равно хотелось.

Думали, как отблагодарить наших хозяев. Я написала записку Янковскому, богатому поляку, у которого была наша лошадь и часть вещей: "Отдайте, пожалуйста, лошадь Игнацию Шестаковскому".

Игнаций вернулся ни с чем:

— К Янковскому приезжал Воверис, привез записку якобы от тебя, Рива. Сам же ее, небось, и написал. Требовал деньги за лошадь. Янковский не поверил, но Воверис угрожал ему, и Янковский отдал деньги.

Неделю спустя приехал сам Янковский. Привез много картошки, хлеба, умолял Шестаковских поддержать нас у себя столько времени, сколько смогут.

С нами вел счет:

— За платье для дочери — мешок картошки, за пальто — мешок муки...

Нам привалило счастье!

Он посадил меня к себе на колени, поцеловал.

— Всех евреев в Кайшядорисе убили, и вашу Басю тоже. По всей Европе убивают евреев. Немцы говорят, что ни единого не оставят в живых.

Он приезжал раз в месяц. Привозил продукты, отдавал хозяевам.

Наш рацион оставался неизменным: иначе не утерпеть до ночи, когда нас выпускают во двор в уборную. За полгода, проведенных в яме, мы с мамой высохли как щепки.

...На всякий случай наши хозяева решили доказать соседям, что в доме нет посторонних; они собрались на три дня в гости в другую деревню и пригласили соседку присмотреть за детьми.

Нам дали хлеба, кувшин воды, помойное ведро; крышку, прикрывавшую яму, замазали глиной.

Три дня мы с мамой молчали. Боялись кашлянуть. У нас болели животы. Было так душно, что мы задыхались. Трое суток в могиле — страшное мучение...

Шестаковские вернулись в срок. Соседка ничего не заподозрила. Жизнь продолжалась.

Ночью мы спали на печи. Во сне к маме пришел ее отец, мой дедушка Ицхак:

— Вставай, доченька. Принимай гостей. К тебе дочь твоя идет, Циля.

Мать спрыгнула с печки, бросилась к окну:

— Циленька! Тевье! Идите сюда! Мы здесь, мы живы!

Она сошла с ума?! Но за окном смутно маячили две тени. Проснулся хозяин и все домашние. Открыли дверь. На пороге стояли Тевье и Циля.

— Это моя дочь и мой зять, — плача от счастья сказала мама.

— Ладно, — махнул рукой Михал, — берите их к себе.

С этого дня нас стало в тайнике четверо: двое сидели на маленькой скамеечке, двое лежали; потом менялись.

Каждый день мы молили Б-га сохранить нам жизнь, и каждый новый день зимы сорок первого приносил новое горе: то об одних знакомых дурные вести, то о других... В Алитусе немцы заставили тридцать пять русских военнопленных выкопать ров, раздели их, загнали в него и заморозили живьем. Возвращаясь из соседней деревни, Михал наткнулся на замерзшую еврейскую девочку. Расстреляли братьев Голомбевских, хозяев хутора, на котором прятались евреи.

Последняя расправа напугала всех. Риск был очевиден и велик. Многим евреям, нашедшим убежище у поляков, пришлось уйти в лес. Собрались и мы, но Шестаковский не пустил:

— Куда вы пойдете? Все равно поймают. Пыток не выдержите, выдадите нас; все и погибнем.

Пойманных евреев убивали не сразу: пытали, дознавались, кто их кормил.

— Был бы один, не так боялся бы. Детей жалко. Нет выхода. И отпустить вас страшно, и держать — тоже...

Вечером Шестаковские обсуждали нашу судьбу. В яме была хорошая слышимость, мы разбирали даже шепот.

Они решили, что другого выхода нет, кроме как обрушить на яму печку и похоронить нас под обломками.

С тех пор мы жили в постоянном страхе, но у Шестаковских, слава Б-гу, так и не хватило духа совершить задуманное.

Я их не виню, понимаю, как им было трудно. Спасибо им за полгода жизни, которые они нам подарили. Не на деньги люди польстились, от души хотели помочь.

Мы и сейчас с ними встречаемся. О том вечере я им ни разу не напомнила.

Я благодарна Шестаковским на всю жизнь: спасли нас, уберегли от гибели в первую военную зиму, самую страшную и холодную. И все же, видно, от злого намерения своего они не сразу отказались. Михал рассказал об этом своему шурину, шурин перепугался и предупредил Янковского. Тот примчался, шепнул мне:

— Немедленно уходите, вас хотят убить.

Поначалу он ездил к Шестаковским часто, но однажды работники спросили хозяина:

— Кто этот человек? Вроде нет у вас в Паранкаве родственников.

С тех пор Янковский стал приезжать к нам раз

в месяц. К себе он не мог нас пригласить: слишком много посторонних глаз в его хозяйстве.

Шестаковские не торопились исполнить задуманное. Да и не могли они решиться на это. Не хотелось им убивать.

Однажды вечером ушли хозяева к брату, праздновать пасху. Тевье выбил головой крышку, и все мы, в чем были, ушли в лес. Четверо вырвавшихся из душной ямы людей, босые, в мороз, шли мы по заснеженным полям...

Тевье повел нас к Малданисам. Альфонсас Малданис покупал землю у старшего Шейнкера, вместе с братом Тевье служил в армии. Он разрешил нам прятаться в своем лесу:

— В государственный лес ходят воровать дрова. Там вас быстро схватят.

Мы спали на ветках, сдвинувшись потеснее, и только днем: не так мерзнешь. Ночью лучше быть в движении. Просить хлеба ходили на дальние хутора — боялись поставить под удар наше убежище.

Иногда еду нам приносил один из братьев Малданисов, оставлял ее в условленном месте — молочный суп, картошку. Все это, конечно, мы получали не даром. Рискуя жизнью, ходили мы за вещами к татарину Раецкому, жившему на Татарской улице в Бутримонисе. Первый раз он дал нам хлеб и масло, а за вещами, полагая, что нас вот-вот убьют, просил прийти через некоторое время, объяснив, что спрятал их в деревне. Во второй раз жена его натравила на Цилю и Тевье

собак. Тогда мы через Малданиса послали ему записку, в которой просили отдать наши вещи. Кое-что из них Раецкий действительно вернул.

Приехали однажды к Малданисам гости, родня из Рудишкеса. Выпили с хозяевами, закусили, разговорились. Дошло до евреев.

— У нас в лесу тоже прячутся, — сказал им Малданис. — Но мы за лес не ответчики.

Пошли показывать нас. Принесли с собой хлеба, четвертинку самогона. Гости благодушно давали нам советы. Тевье выпил самогон, а мы поели.

Впечатление мы произвели на них, наверно, жуткое. Я, например, всю войну пряталась в одном платье. Так оно на мне и истлело.

Голодными мы были всегда. Когда горе и голод — спишь как младенец. Однажды, проснувшись утром, мы увидели поблизости следы велосипедных шин. Как потом выяснилось, алитусский немец Губерт варил скипидар в лесу неподалеку. Не выдал нас. Даже Малданисам не сказал.

Потом на нас свалилась еще беда. Циля родила мертвого ребенка и тяжело заболела. Тевье привязывал ее к спине и переносил на себе. Наверное год она не могла ходить.

Встретили Янкла Бернштейна. Нашего, бутримонисского. Его прятали Хлебовичи из Паранкавы. Он ушел в лес после расстрела Голомбевских, сделал себе логово в густых зарослях, еще кусты посадил — не продерешься.

Вспоминали с ним наших. Он рассказал о докторе Габае. В гетто у него оставались девяностолетняя мать и слепой брат. Бежать они не могли. Габай дал им яд:

— Выпейте, когда придут. Умрете без мучений.

Они так и сделали. "Шаулисты" нашли только трупы.

Сам Габай с женой, дочерью пяти лет, девятимесячным сыном и Финк с шестилетним сыном ушли к Янковскому. Детей увезла в Вильнюс родственница Янковского, монашка, и прятала их всю войну. Финка из концлагеря освободили американцы. Он писал сыну из Америки, слал посылки, звал к себе. Мальчик к тому времени принял фамилию названной матери. К Финку ни он, ни она не поехали.

Габай с женой и Финком прятались в деревне Полукнас у знакомых Янковского. Соседи заметили, донесли. Пришли с обыском, но никого не обнаружили. Жена Габая в тот день сошла с ума. Они перебрались в Вильнюсское гетто. Там она умерла. Сам доктор остался жив.

Монахиня спасла детей. После войны ходила в школу на родительские собрания. Помогла сыну и дочери Габая вместе с отцом уехать в Польшу. Уже оттуда семья выехала в Израиль.

\* \* \*

...Прошла весна. В июне прибежала жена Малданиса.

— Альфонсаса нет, уехал. Бегите! Лес окружен.

Облава шла третий день: искали евреев, беглых военнопленных.

Только мы скрылись за кустами, как поблизости послышались голоса "смаугиков".

Мы бросились было наутек, но вспомнили про Бернштейна. Подняли его, сонного, вместе добежали до опушки. Стали в тени деревьев. На наше счастье Тевье все слышал и все замечал.

— Рива, посмотри направо.

Я обернулась и встретила взглядом со "смаугиком", лежавшим в цепи, окружившей опушку леса.

— Бегите! — закричал Тевье.

Я схватила за рукав Бернштейна.

Он рванулся:

— Пусти!

Прогредел выстрел, Бернштейн упал.

Я обернулась, вижу: Тевье с мамой и сестрой бегут к лесу. Я — за ними. Тевье понял: нас окружают — и резко развернулся. Мы пробежали вдоль опушки к полю. Оттуда Тевье вывел нас на Чертово болото и приказал:

— Прыгать только по кочкам. Промахнетесь — не вытащу, засосет.

Мы прыгали. Было невероятно красиво: болото пестрело цветами, изумрудная трава радовала глаз, хотя и резала ноги почище бритвы.

Оставляя за собой кровавые следы, мы забрались вглубь болота и отдышались. Вдруг послы-

шался конский топот. Тевье ушел на разведку, вернулся бледный:

— Верховые прочесывают рожь. Болото окружено.

В этом поле "смаугики" нашли одного беглого военнопленного и сына Ковальского, Янкла, и убили их.

У нас не было выхода. Мы простояли в воде до темноты.

Ночью Циля и Тевье пошли к Малданисам выяснить обстановку. Встретили крестьянина Жемайтиса из Эйгердониса. Оказывается, он накануне работал в поле и видел нас, но не выдал. Преследователи спросили его:

— Не пробежал ли кто?

Жемайтис ответил:

— Нет, — хотя прекрасно нас разглядел.

Малданисы — зажиточные хозяева, полицейские частенько у них останавливались. Так случилось и в эту ночь. Тевье постучал.

Хозяйка высунулась за дверь. Шепнула ему:

— У нас "смаугики".

Позже нам рассказали, как полицейские издевались над раненым Бернштейном: хотели знать, кто давал ему еду. Отрубали бедняге палец за пальцем, пока не осталось ни одного, но он никого не выдал.

Эта облава унесла еще несколько жизней — евреев и военнопленных. После нее мы все словно свихнулись: ходили по полям почти не прячась. Так дошли до шоссе и залегли во ржи рядом с

домом Рандоманского. Там и пролежали несколько дней до уборки урожая. И снова в лес.

Как-то в кустах, среди берез нашла нас Анеля Дульскене. Мы знали ее хорошо, часто нанимали помогать нам полоть огород.

Женщина пришла наломать веток для метлы, раздвинула кусты и увидела нас.

Мы лежали на траве. На наших руках, плечах, коленях сидели птички. До сих пор вижу: мама ест хлеб. Сыплются крошки. Их подхватывают птицы. Чирикают у мамы на голове, на плечах. Мы меняем место — они перелетают вслед за нами.

Анеля испугалась. Я обхватила ее ноги, заплакала:

— Помоги нам, мы умираем с голоду!

Она пообещала отвести нас к своей матери.

— Интересно, птички вас не боятся! Приведу мужа, покажу.

Действительно, через полчаса Анеля пришла с мужем, принесла хлеб.

Вечером она пришла закутанная в покрывало: боялась, что узнают, — и проводила нас в Эйчюнай к Сакавичюсам. У них тоже были наши вещи. Взамен я попросила хлеба.

Сакавичене лежала в постели в моей ночной рубашке. Она сразу вскочила:

— Снимай пиджачок.

Этот старый форменный китель пожарника отдал мне кто-то из крестьян.

— Что ты! — попытался остановить ее муж. —

Последнее с человека снимаешь. Голой баба останется.

— Зачем ей, не сегодня-завтра убьют.

Я попыталась защититься:

— Ты же останешься под крышей. А я уйду под открытое небо.

— Тише ты. Тут полиция близко. Позову, ничего больше не понадобится.

В одном гнилом платье шла я обратно. Правду говорят: "Пошел верблюду рога просить, ему и уши отрезали".

Анеля, спасибо ей, отвела нас к своим родителям. Там мы и перезимовали.

Где мы только ни прятались: в ямах, в сараях... Выбирали убежище подальше от людей. Летом хоронились во ржи, в кустах. Сожнут рожь, забираемся в сарай. Из бесконечной череды сараев, в которых мы отлеживались, я запомнила тот, который принадлежал Ивановскому.

Однажды после войны подвозил нас в Бутримонис какой-то поляк. Когда мы проезжали мимо сарая Ивановского, он сказал:

— Это мой. В нем зимой прятались военнопленные. Как пришли мы по весне брать клевер — глядим, внутри место вылежано, люди жили. Вот так.

Раньше я Ивановского никогда не видела.

— Мы у вас прятались, — сказала я ему.

...В этом сарае хранили сено и клевер. Мы забрались в клевер, знали: до весны за ним не придут. Глубоко в стогу промучились три недели.

Хотелось пить. На день у нас была на всех одна бутылка воды. Ели снег. По нужде выходили ночью.

Мы с Тевье отправлялись по хуторам просить хлеба. Дорог мы избегали: их охраняли отряды "самообороны". Люди разговаривали с нами в темноте: свет зажигать было опасно.

Однажды зашли к одному знакомому, у которого уже однажды были. Тот замахал руками:

— Погубить меня хотите?! Вся деревня знает, что евреи ко мне ходят.

Тевье удивился:

— Нас никто не видел.

— Вы в галошах. А наши все в клумпах ходят. По следу сразу видать.

Мы были бы рады надеть что-нибудь другое, но ничего, кроме галош, не было. Обматывали ноги тряпками, галоши — сверху, так и ходили. С тех пор, чтобы не оставлять следов, стали наматывать тряпки и сверху.

Трижды в день приходил Ивановский с сыном за кормом для скота. Слышим: дергают из стога сено. Сидим тихо, как мыши.

Раз мама закашлялась. Сын вскрикнул испуганно:

— Слышишь? Здесь кто-то есть.

Отец усмехнулся:

— Ты что! Кто-то присел до ветру за сараем, тебе и чудится.

В конце третьей недели всю ночь неподалеку стреляли. Утром Ивановский пришел один. Тевье вылез, поздоровался с ним и сказал:

— Иду к своим. Жена и сестра у хороших людей. Знаю, вы тоже человек хороший, знакомы мы давно, плохого мне не сделаете. Я переночевал и ухожу. Что было ночью?

— Пятеро партизан зашли в баню. Среди них был один бутримонисский еврей по фамилии Страж. Их заметили. Подъехали "активисты". С ними был твой старый знакомый — Рачкис. Баню подожгли, всех перебили. Своим о тебе не скажу, только уходи побыстрее.

Ночью мы ушли.

Летом сорок третьего было решено разделиться: по двое легче прятаться. Мы с мамой нашли во ржи поблизости от деревни Йонавка воронку — еще с войны четырнадцатого года. Тевье по ночам приносил нам поесть.

Однажды на поле появились двое косарей. Один из них, Юргис Янушаускас, пьяница и буян, заметил нас и обомлел. Худые, с воспаленной, изодранной кожей, грелись мы на солнце.

— Погодите. Сейчас принесу поесть.

Вскоре Юргис принес свой обед — хлеб с молоком.

— Притащил бы больше, да напарник выдаст.

Я попросила его принести нам завтра еще еды. Думаю: если принесет, значит пожалел и не выдаст.

Утром следующего дня пришли к яме женщины: дочь Юргиса, жена его напарника и еще две, наши знакомые. Мы принялись за еду, а жена напарника прошептала мне на ухо:

— Уходите. Боюсь, Юргис выдаст.

Я обратилась к дочке Юргиса, намеренно говоря в полный голос:

— Не верю, что твой отец выдаст нас!

Та повернулась к товарке и в крик:

— Мой-то отец дома! Это твой муж ушел утром в Бутримонис — уж не за полицией ли?

Так и ушли, ругаясь.

Пришлось нам бежать и отсюда. Идти днем опасно, но выхода не было. Пройдя метров пятьдесят, мы остановились под густым деревом. Сзади, у ямы, раздались выстрелы.

Совсем рядом с нами прошли двое: полицейский из Бутримониса, Стельмахавичюс, и учитель Люциус Константиновичюс. Портфель учителя проплыл в метре от меня.

Слава Б-гу, что не заметили! Стельмахавичюс пристрелил бы нас, глазом не моргнув. Много душ загубил он. В нашу яму он стрелял просто так, для веселья.

Бесконечные скитания — то вдвоем, то вчетвером — привели нас к Швабовскому. В его окне горела лучина, слышалась польская речь. Мы рискнули войти.

Хозяин был дома, он гнал самогон. Я попросила его пустить нас в сарай погреться, всего на несколько дней. Предложила ему за это вещи, которые у нас были с собой, обещала принести потом еще.

Тут раздался стук. Детский голос за окном зачистил:

— Дяденька, я принес две штуки полотна. Дело чистое. Взял его на гумне, под большим камнем в ящике. Я камень поставил на место. Следов не осталось.

Мы укрылись за печкой. Лучина догорала. Было темно. Дальше порога хозяин мальчишку не пустил. Они сторговались на каком-то количестве самогона, и тот ушел.

Нас пустили в хлев, на солому. Раз в день хозяйка приносила нам еду, когда все были в доме. Для нас хозяйка варила так: брала снег за домом, куда все ходили по нужде, и бросала в чугунок с грязной водой гнилую свеклу.

Мама вязала чулки для хозяев, сестра шила.

Тем временем начались артиллерийские налеты: фронт подошел вплотную.

Однажды утром, когда все местные прятались по домам, мы вышли на улицу, впервые — не таюсь, радовались:

— Смотри на небо. На самолетах русские звездочки. Дожили все-таки до свободы!..

В лесу нас остановил русский часовой. Выглядели мы ужасно. Я опиралась на палки. Мама поддерживала меня, иначе я бы упала.

Солдат сразу сообразил, что перед ним еврейки, и отвел нас к лейтенанту. Тот тоже оказался евреем, обрадовался:

— Слава Б-гу, еще кто-то выжил!

Нам принесли еды, но при всех мы есть не могли. Лейтенант приказал своим людям оставить нас одних и на прощание дал денег:

— Пусть первые деньги на свободе будут у вас от еврея.

Мы решили вернуться к Швабовскому, чтобы дождаться Тевье: он с Цилей отправился к Янковскому — разузнать, что происходит.

Янковский встретил их хорошей вестью:

— Русские в Бутримонисе!

В местечке Тевье мало обрадовались. Те, у кого оставались наши вещи, даже разговаривать с ним не хотели. Только Троцкис дал Тевье почти новую фуражку и полбуханки хлеба.

В Бутримонисе в еврейских домах поселились "активисты". Они понимали, что это не навсегда, снимали с окон рамы, сдирали кафель с печей и продавали.

Но об этом мы уже узнали позже.

А пока, в ожидании Тевье, зашли к Швабовской в дом.

В гостях у нее был ее младший брат Кведаравичюс. Он раскричался на сестру:

— Стыдно! Ты жидов держала. Из-за тебя они выжили. Я хорошо одну из их семьи помню, сам ее добил. Перед смертью она кричала: "На нашей крови не постройте независимую Литву!" Сейчас я им покажу, построим или не построим!

Мы выскочили на улицу и бежали, пока не уперлись в ворота усадьбы Янковского. Хозяева нас не узнали. Думали — нищие. Я расплакалась:

— Неужели вы забыли нас? Мы — Лозанские.

А нас просто невозможно было узнать.

Янковская тоже заплакала. Пригласила в ком-

нату, но мы отказались: были очень грязные. Хозяйка вынесла нам одежду, и мы отправились к болоту, мыться. Мама носила воду в консервной коробке и мыла меня.

Свое платье я сбросила, мама взяла его на память и долго хранила. Сейчас оно в Израиле, в музее "Яд Вашем".

Потом появился Тевье с повозкой. Я уже совсем не могла ходить. Он увез нас в Бутримонис.



Butrimonys sutinka Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną.



1941 m. karo pradžia